DOI:

Гордин Яков Аркадьевич,
редактор литературно-художественного,
общественно-политического независимого
журнала «Звезда»

РУССКИЕ ПОЭТЫ И ФИЛОСОФЫ В ЭПОХУ КРАСНОГО ТЕРРОРА[1]

Аннотация. Поэты и мыслители в своих трудах отобразили проблемы эпохи 1917–1921 гг. Люди искусства по-разному относились к резким переменам в виде смены власти. Но большинство из них ощущали и передавали в произведениях похожий мотив. В текстах они пишут о возникающем чувстве ложной справедливости, о страданиях невинных, нравственном распаде. Одной из самых популярных тем того периода становится судьба человека. Поэтов пугало мрачное предчувствие перемен, упадок ценности человеческой жизни. Многие, описывая обстановку 1917–1921 гг., словно ожидали спасения извне, внешнего вмешательства. Вышеперечисленные проблемы рассматриваются на конкретных примерах литературы 1917–1921 гг.

Ключевые слова: поэзия, философия, русская революция, красный террор, судьба человека, Николай Бердяев, Сергей Трубецкой, Анна Ахматова, Борис Пастернак.

Gordin Yakov Arkadievich,
literary and artistic editor,
socio-political independent magazine "Zvezda"

RUSSIAN POETS AND PHILOSOPHERS IN THE ERA OF THE RED TERROR

Annotation. Poets and thinkers in their works reflected the problems of the era of 1917–1921. People of art had different attitudes to abrupt changes in the form of a shift of power. But most of them felt and conveyed a similar motif in their works. In their texts, they write about the emerging sense of false justice, about the suffering of the innocent and moral decay. One of the most

[1] Публичная лекция состоялась 11.11.2017 г. в Пермской краевой библиотеке им. А.М. Горького.

popular topics of that period was the fate of a person. Poets were afraid of a gloomy foreboding of changes, the decline of the value of human life. Many people, describing the situation of 1917–1921, seemed to expect salvation from outside, external intervention. This article will reveal the above-mentioned problems in the literature of 1917–1921 with specific examples.

Keywords: poetry, philosophy, Russian revolution, red terror, human destiny, Nikolai Berdyaev, Sergei Trubetskoy, Anna Akhmatova, Boris Pasternak.

Трагическая для России эпоха 1917–1921 гг., подробно изученная историками, тем не менее ставит перед нами целый ряд, прежде всего, нравственных проблем. И этот аспект событий наиболее тонко и точно исследовали и запечатлели своими средствами крупнейшие поэты и мыслители того времени, свидетели и жертвы великого катаклизма.

Тогда же, по горячим следам, они старались понять и вывести на свет глубинный смысл происходящей на их глазах трагедии.

В 1918 г. Бердяев писал в программной статье «Духи русской революции»: «Русские сплошь и рядом бывают нигилистами-бунтарями из ложного морализма. Русский делает историю Богу из-за слезинки ребенка, возвращает билет, отрицает все ценности и святыни, он не выносит страданий, не хочет жертв. Но он ничего не сделает реально, чтобы слез было меньше, он увеличивает количество пролитых слез, он делает революцию, которая вся основана на неисчислимых слезах и страданиях»[1].

Бердяев, как понятно, отталкивается здесь от известного монолога Ивана Карамазова.

Как мы увидим, и мыслители, и поэты разглядели в происходящем подмену смысла – ложную справедливость. Ложной справедливостью, социальным реваншем невозможно было оправдать безграничную жестокость происходящего. Идея социальной революции, принимаемая значительной частью русской интеллигенции, будучи осуществленной, смертельно себя скомпрометировала, прежде всего, в аспекте нравственном.

Страдания невинных – вот, что стало для наших героев апофеозом аморализма революционной эпохи. Реальные качества и черты личности, индивидуальные поступки перестали по сути дела быть равными себе. Судьбу человека теперь решала принадлежность к некой социально-политической общности. Для того чтобы

спастись, человек должен был перекраситься, надеть маску, перестать быть собой. Чтобы сохранить себя физически, нужно было пойти на моральную гибель.

Философ, а во время Первой мировой войны боевой офицер-артиллерист Федор Степун писал: «Под угрозой хладнокровного, рационального террора во всей непролетарской России начался небывалый по своим размерам процесс внутреннего и внешнего перекрашивания в защитный цвет революции.

Тысячи и тысячи людей, насильнически выгнанных революционным законодательством и произволом масс из своих помещичьих усадеб, городских особняков и даже скромных интеллигентских квартир, бросали вместе с накопленным добром и весь свой миросозерцательный багаж, дабы хоть как-то устроиться под спасительной крышей марксистской идеологии. Толпы этих обнищалых, внутренне неприкаянных переселенцев заполняли собою в качестве служащих, а зачастую даже и руководителей всевозможные советские учреждения, придавая жизни неуловимо призрачный, двоящийся характер. Охваченные со всех сторон партийным шпионажем, эти новоявленные “товарищи” легко запутывались в нем и, спасая себя, выдавали других. Нет сомнения, что безликий и вездесущий шпионаж был самою страшною стороною террористической системы большевизма. Сердце каждого человека билось не в собственной груди, а в холодной руке невидимого “чекиста”»[2].

В результате этих процессов происходило самое страшное – гибель человеческой личности, основы здорового общества.

Эту страшную черту времени, результат революционной ломки, – нравственный распад – видел, разумеется, не один Степун. Мыслящие люди видели и понимали значение этого губительного процесса.

Князь Сергей Евгеньевич Трубецкой, сын известного философа, общественный деятель, человек подчеркнуто аристократического мировидения, апологет русского дворянства и решительный сторонник белого движения, с горечью констатировал: «В эту эпоху было много светлых явлений русского духа: преданности воле Божьей, благородства, самопожертвования, храбрости, но, в общем, нельзя не признать, что это была эпоха морального разложения.

Атмосфера Гражданской войны и классовой ненависти все отравляла. При этом война – самая жестокая, беспощадная и подлая,

шла всюду. Постепенно ряды сражающихся все более смешивались, измена и предательство в самых разнообразных формах, как ужасные язвы, разъедали обе стороны. Конечно, я больше знал и больше болел тем, что происходило у белых, но и у красных моральное разложение зашло очень далеко: вся нация была отравлена, и яд проникал всюду.

Сколько ужасных картин и воспоминаний проносятся передо мною! Вот молодой гвардейский офицер, носитель одной из лучших фамилий России, сделавшийся секретным агентом ЧК… Вот другой офицер, предавший своих товарищей большевикам, потом заманенный в ловушку своими старыми друзьями и убитый там своим родственником – тоже офицером, мстившим за преданных на смерть товарищей… Мой друг, Сережа Мансуров, в наши студенческие годы говорил про меня, что я – "человек до Достоевского". Действительно, при полном признании гениальности Достоевского у меня с юности было органическое отталкивание от "достоевщины", столь близкой многим русским людям. А тут мне пришлось жить в такой "достоевщине", что иной раз, пожалуй, и сам Достоевский от нее содрогнулся бы»[3].

Причем все эти люди отнюдь не были глухими и слепыми реакционерами. Наоборот! Многие из них принимали революционную идею – в принципе. До ее осуществления. И трезво оценивали состояние предреволюционной России.

Тот же Трубецкой писал: «Революцию 1917 года менее всего можно назвать неожиданной, хотя, конечно, никто не мог предсказать ее сроки и формы.

Я совершенно ясно помню предшествующее ей гнетущее чувство мрачной обреченности. Я никогда не ощущал этого чувства столь ясно и сильно, как именно тогда.

Несмотря на некоторую примесь восточной крови – кажется, нет в мире больше аристократии с более смешанной кровью, чем русская! – я никогда не был фаталистом. А в политике я считаю фатализм ведущих слоев общества просто преступным. Но тогда, реагируя против этого чувства обреченности всеми силами своей души, я, как никогда, ощущал, что что-то "фатальное" нависло над Россией: злой Рок витал над ней… Под ногами чувствовались какие-то глухие подземные толчки: Ахеронт приходил в движение…»[4].

Поэты оказались еще более чуткими и до, и после рокового перелома.

В поздних набросках автобиографии А.А. Ахматова писала: «В Петербурге был уже убитый Распутин, и ждали революции, которая была назначена на 20 января (*1917 г. – прим. авт.*) (в этот день я обедала у Натана Альтмана. Он подарил мне свой рисунок и написал: “В день Русской Революции”)»[5].

Но инстинктом большого поэта Ахматова очень скоро почувствовала близость катастрофы:

Не ласки жду я, не любовной лести
В предчувствии неотвратимой тьмы…

Это было написано в июле 1917 г.

В том же году было написано наполненное реальным смыслом стихотворение:

И целый день, своих пугаясь стонов,
В тоске смертельной мечется толпа,
А за рекой на траурных знаменах
Зловещие смеются черепа.

Вот для чего я пела и мечтала,
Мне сердце разорвали пополам,
Как после залпа сразу тихо стало,
Смерть выслала дозорных по дворам.

Это точное описание июльских событий в Петрограде – бурных пробольшевистских демонстраций, сопровождаемых беспорядочной стрельбой и паникой. «За рекой» – на Васильевском острове находилась штаб-квартира анархистов – черные знамена с черепами – принимавших яростное участие в событиях.

Вообще Ахматова в 1917 г. оказалась слишком чуткой, чтобы увлечься общеромантическим ликованием по поводу падения деспотизма или легитимистским сожалением по тому же поводу. Ключевое ощущение от происходящего – тоска от мрачных предчувствий. Она догадывалась, что перелом такого масштаба и такой резкости может принести трудно представимые бедствия. Недаром: «В тоске смертельной мечется толпа…».

Почти с таких же слов начиналось знаменитое стихотворение, написанное в том же 1917 г.

В книге «Подорожник», вышедшей в 1921 г., эти стихи выглядели так:

Мне голос был. Он звал утешно,
Он говорил: «Иди сюда,
Оставь свой край глухой и грешный,
Оставь Россию навсегда.
Я кровь от рук твоих отмою,
Из сердца выну черный стыд,
Я новым именем покрою
Боль поражений и обид».

Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух.

В таком виде эти стихи и публиковались в России много лет.

Но в первой публикации 12 апреля 1918 г. в газете «Воля народа» они начинались по-другому:

Когда в тоске самоубийства
Народ гостей немецких ждал,
И дух суровый византийства
От русской церкви отлетал,
Когда приневская столица,
Забыв величие свое,
Как опьяневшая блудница
Не знала, кто берет ее,
Мне голос был….

Последней строфы не было вообще. Она появилась в публикации 1921 г., когда – в новых политических обстоятельствах стихотворение приобрело иной смысловой оттенок.

Стихотворение насыщено смыслом и исторически многозначно.

Прежде всего, как видим, первые строки «Когда в тоске самоубийства Народ…» впрямую соотносится со строкой стихотворения «В тоске смертельной мечется толпа…» Ахматова опреде-

ляет психологическое состояние народа (толпа, метавшаяся 4 июля под выстрелами, – и есть народ) как «смертельную тоску», «тоску самоубийства». Можно сомневаться в точности этого диагноза, но нам важен взгляд Ахматовой, ее восприятие происходящего.

Однако возникает вопрос: почему «самоубийства»?

Для того чтобы понять это, необходимо выяснить – кто такие «немецкие гости».

«Немецкие гости» в конце 1917 – начале 1918 г. – это и наступающие кайзеровские батальоны, и большевики, чьи лидеры прибыли в Россию через Германию и с помощью немцев. И в том, и в другом случае понятие «самоубийство» приобретает выраженный политический смысл. С большевиками все понятно – ожидая большевиков как избавителей от хаоса, народ готовил гибель нарождающейся свободы. Если иметь в виду наступающих немцев, которые могли в скором времени взять Петроград, то дело усложняется. Народ хочет прихода немцев. И это желание Ахматова считает самоубийственным.

Реальный комментарий делает последнее толкование вполне допустимым.

Бунин писал в «Окаянных днях» (19 апреля 1919 г.): «Весь день упорный слух о взятии румынами Тирасполя, о том, что Макензен уже в Черновицах, и даже о “падении Петрограда”. О, как люто все хотят этого!»

Сергей Трубецкой свидетельствовал о настроениях в канун Октябрьского переворота: «Все неуклонно шло к большевизму, никаких серьезных препятствий ему не было. Может быть, и то не наверное, остановить такое скольжение к социально-экономическому хаосу могла бы тогда только Германия. Кое-кто из русских на это рассчитывали…»[6].

Многим отчаявшимся русским деятелям, равно как и рядовым гражданам, казалось, что единственная возможность спасти Россию от власти большевиков – вмешательство извне. В тот момент наиболее реальной силой были уже подошедшие к Пскову немцы.

Но почему же «самоубийство»?

Ахматова смотрела на вещи глубже многих своих сограждан, догадываясь о пагубной неестественности, неорганичности такого развития событий. И ее поэтическое ощущение вполне совпадало с пониманием ситуации философом и историков Георгием Петро-

вичем Федотовым. Оглядываясь на недавно прошедшее, Федотов писал в 1932 г.: « Национализм русский, раздавленный и униженный, легко принимает в настоящее время форму антиевропеизма. Но вне политических кругов он распространен гораздо шире, как обывательская подоплека, как кожное, утробное мироощущение. Европу ненавидят за то, что она спаслась, когда мы утонули, и за то, что она не спасла нас… Извращение национализма в нежелании нести национальную ответственность. Россия отвечает сама за себя. Большевизм – ее собственный грех, как и освобождение от большевизма – ее собственный подвиг»[7].

Требование спасения извне, чужими руками Федотов называет «моральной тупостью».

«Россия отвечает сама за себя» – это была и позиция Ахматовой перед лицом крови и унижения, которые нес большевизм.

Ахматова, судя по всем ее стихам этого периода, была уверена, что России необходимо пройти через горнило искупления, чтобы снять с себя грех большевизма, грех братоубийства, грех разрушения нравственных связей. Как и Бердяев, и Федотов, она отнюдь не склонна была видеть причину кровавого катаклизма в узком политическом заговоре.

Так она определила и свою личную судьбу – отказ от эмиграции. Ей, очевидно, было близко безжалостное утверждение либерального публициста Александра Изгоева, который писал в июне 1918 г.: «Напрасно интеллигенция пытается спасти себя отводом, будто она не отвечает за большевиков. Нет, она отвечает за все их действия и мысли»[8]. Утверждение небезусловное, но очень тогда распространенное в среде интеллектуальной элиты.

«Россия отвечает сама за себя»… И русская интеллигенция – прежде всего….

Но это отнюдь не означало хоть в какой-то мере оправдание большевизма.

Чтобы с полной ясностью понять, как относился круг Ахматовой к событиям 25 октября 1917 г., нужно вспомнить стихи близкого ей Мандельштама, с которым они в конце 1917 г. встречались почти ежедневно:

Когда октябрьский нам готовил временщик
Ярмо насилия и злобы

И ощетинился убийца-броневик
И пулеметчик узколобый,

Керенского распять потребовал солдат,
И злая чернь рукоплескала:
Нам сердце на штыки позволил взять Пилат,
Чтоб сердце биться перестало.

Стихи эти, откровенно оппозиционные новой власти, были опубликованы 15 ноября 1917 г. в той же «Воле народа».

Пастернак, уже летом 1917 г. предчувствующий надвигающийся ужас, что ясно ощущается в «Сестре моей жизни», в 1918 г. осознал его вполне. Когда в тюремной больнице были убиты пьяными матросами два министра Временного правительства – Шингарев и Кокошкин, демократы, земские деятели, то он откликнулся на это преступление потрясенными стихами:

Мутился мозг. Вот так? в палате?
Ложились спать, снимали платье.
Курок упал и стер?

Кем были созданы матросы,
Кем город вполокна,
Кем ночь творцов; кем ночь отбросов,
Кем дух, кем имена?..

Сарказм на Маркса. О, тупицы!
Явитесь в чем своем.
Блесните! Дайте нас упиться!
Чем? Кровью? – Мы не пьем.
И последние строки:
Пред срывом пухнут кровью жилы
В усильях лжи и зла.

Пастернак старался сторониться прямых политических баталий, но наблюдаемые им «усилья лжи и зла» новой власти требовали поэтической реакции. И она последовала.

Пастернак принадлежал к той группе русских интеллигентов, которые восторженно приняли Февральскую революцию.

В этом поэты сходились с философами. Федор Степун писал: «Я никогда не был революционером, более того: во мне никогда не угасал как инстинктивный, так и сознательный протест против левых демократов, марксистов и социалистов-революционеров. Несмотря на такое отношение к революции я принял весть о ней радостно»[9].

Но тем тяжелее было разочарование. Пастернак писал:

Как было хорошо дышать тобою в марте
И слышать во дворе, со снегом и хвоей
На солнце, поутру, вне лиц, имен и партий
Ломающее лед, дыхание твое!..

Что эта, изо всех великих революций
Светлейшая, не станет крови лить…

Но уже в начале 1918 г., в начале большой крови, метафорой революции для него стал кронштадтский самосуд над морскими офицерами:

Теперь ты – бунт. Теперь ты – топки полыханье.
И чад в котельной, где на головы котлов
Пред взрывом плещет ад Балтийскою лоханью
Людскую кровь, мозги и пьяный флотский блев.

Пастернак, как всегда, точен в деталях – матросы разбивали офицерам головы кувалдами. Отсюда – мозги…

Наступало время, когда ценность человеческой жизни упала до нуля. Самоценность человеческой личности стала фикцией. И это сокрушение основ гуманистического миропредставления, совершаемое новой властью, делало ее категорически неприемлемой для той категории русских интеллигентов, к которой принадлежали Ахматова и Бердяев, Мандельштам и Федотов, Пастернак и Степун…

Степун вспоминал: «Со дня на день креп террор, людей преследовали не только за их деяния и мысли, но и за их бездейственное немое бытие. Смертные приговоры выносились и приводились в исполнение не в порядке наказаний за преступление, а в порядке ликвидаций чужеродного, а потому непригодного для социалисти-

ческого строительства материала. Помещики, буржуи, священники, кулаки, белые офицеры так же просто выводились в расход, как в рационально поставленных хозяйствах выводится в расход одна порода скота ради выведения другой»[10].

Поэты бестрепетно фиксировали реальность. Мыслители анализировали и старались понять сущностный смысл разворачивающейся трагедии России. Но был и еще один аспект происходящего, который удивительным образом роднил поэтов и философов – стоическое осознание очищающей силы трагедии. Осознание, которое для многих из них определялось в значительной степени их христианским мировидением.

И здесь мы встречаемся с явлением в своем роде уникальным – принципиальным родством в восприятии трагедии – красного террора – людей чисто художественного мышления и представителей мышления системного. Это явление свидетельствует о единстве культурно-психологического фундамента, интеллектуального контекста, в котором существовали творцы Серебряного века, продолжавшие нравственные традиции русского XIX в. То, о чем мы сейчас будем говорить, было бы понятно Пушкину, позднему Гоголю, Толстому, Достоевскому.

В 1921 г. Ахматова подвела итоги их общего взаимоотношения с эпохой красного террора.

Все расхищено, предано, продано,
Черной смерти мелькало крыло,
Все голодной тоскою изглодано,
Отчего же нам стало светло?

Днем дыханием веет вишневыми
Небывалый под городом лес,
Ночью блещет созвездьями новыми
Глубь прозрачных июльских небес, –

И так близко подходит чудесное
К развалившимся грязным домам…
Никому, никому не известное,
Но от века желанное нам.

Знаменательное совпадение ощущений – у Ахматовой «так близко подходит чудесное», а у Пастернака в апокалиптическом стихотворении 1917 г. «Распад»: «Поволжьем мира чудеса Взялись, бушуют и не спят».

Просветление и ощущение чуда как результат проживания страшных лет – победа духа над страхом голого насилия.

Федор Степун писал об этих же годах и месяцах: «Насколько страшны были первые годы революции классоненавистническим растлением общества и революционным перекрашиванием России, настолько же значительным были они тем, что все вещи, чувства и мысли начали постепенно обнаруживать свой удельный вес, входить в истину своей сущности, своего подлинного значения… По всей линии разрушающейся цивилизации новый советский быт почти вплотную придвигался к бытию. Становясь необычайным, все привычное своеобразно преображалось и тем преображало нашу жизнь. Сквозь внешнюю оболочку вещей всюду видимо проступали заложенные в них первоидеи… В нашей внешней до убожества упрощенной жизни в те дни на каждом шагу совершались сложнейшие нравственные процессы… Жизнь на “вершинах” становилась биологической необходимостью; абсолютное “бытие” переставало быть возвышенным предметом философского созерцания и поэтического вдохновения, с каждым днем оно все больше становилось единственно возможною опорою нашей каждодневной жизни»[11].

Вот об этом «возвышении души» посреди крови и голода, о «жизни на вершинах» в момент исторического и бытового кошмара и написано приведенное выше стихотворение Ахматовой.

У Степуна: «Несмотря на этот ужас, в нашей советской жизни первых лет было нечто по своей значительности, весомости, а минутами даже просветленности (*! – прим. авт.*) решительно несравнимое со всем, что мы пережили до революции в России и после нее в Европе»[12].

Ахматова: «Отчего же нам стало светло?»

Степун: «По всей линии разрушающейся цивилизации новый советский быт почти вплотную придвигался бытию. Становясь необычайным, все привычное своеобразно преображалось».

Ахматова: «Итак близко подходит чудесное К развалившимся грязным домам, Никому, никому неизвестное…».

У Ахматовой – поэта и человека более религиозного, чем Степун, – были значительно сильнее и элемент экзальтации, и мотив просветления через страдание. Но направление мысли удивительно совпадает.

Поэт Николай Оцуп, близкий к Гумилеву в послеоктябрьское время, вспоминал: «Никогда мы не забудем Петербурга периода запустения и смерти, когда после девяти часов вечера нельзя было выходить на улицу, когда треск мотора ночью за окном заставлял в ужасе прислушиваться: за кем приехали? Когда падаль не надо было убирать – ее тут же на улице разрывали исхудавшие собаки и растаскивали по частям еще более исхудавшие люди.

И все же в эти годы было что-то *просветляющее* в нас, и все же:

Я тайно в сердце сохраню
Тот неземной и страшный свет,
В который город был одет»[13].

Это ощущение просветленности, неземного света, небывало высокого посреди невиданных испытаний, о чем говорили Ахматова, Пастернак, Мандельштам, Оцуп и не только они, не только буквально совпадало с ощущениями философов (Степун), но и обосновывалось в те годы в сфере религиозной философии как эсхатологичность сознания.

Философ и политический мыслитель князь Евгений Николаевич Трубецкой, отец цитированного нами Сергея Трубецкого, написал в 1918 г. книгу «Смысл жизни», где комментировал происходящую катастрофу, опираясь на Евангелие.

«Евангелие указывает и другие признаки всеобщего распада человечества – глады и смятение…, моры… Когда сгорает человеческое благополучие, гибнут относительные ценности, рушатся утопии, – все это бывает признаком, что Царство Божие близко, при дверях: потому что именно от отрешения от утопического и относительного человек сердцем приближается к вечному и безусловному… Именно в катастрофические эпохи сердце человеческое дает миру лучшее, что в нем есть, а уму открываются те глубочайшие тайны, которые в будничные эпохи истории заслоняются от умственного взора своей обыденщиною. Среди пламени мирового пожара, уничтожающего обветшалые формы жизни, рожда-

ются те величайшие откровения Духа Божия на земле, которые предваряют явления новой жизни»[14].

Можно подумать, что Ахматова читала размышления Трубецкого – единство мировосприятия поэта и философа: близость чудесного, никем не изведанного, желанного от века духовного очищения, которое можно купить только ценой великих страданий.

Все они победили ужас красного террора и распада быта, сумев вырваться в бытие.

---

[1] Из глубины [сборник]. Париж, 1967. С. 84.
[2] Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. Лондон, 1990. С. 203.
[3] Трубецкой С.Е. Минувшее. Париж, 1989. С. 187.
[4] Трубецкой. Указ. соч. С. 133.
[5] Ахматова А.А. Сочинения. М., 1987. С. 427.
[6] Трубецкой. Указ. соч. С. 161.
[7] Федотов Г.П. Россия, Европа и мы. Париж, 1973. С. 279.
[8] «Из глубины»: сб. Париж, 1967. С. 184.
[9] Степун Ф. Указ. соч. С. 24.
[10] Степун Ф. Указ. соч. С. 202.
[11] Степун Ф. Указ. соч. С. 204.
[12] Степун Ф. Указ. соч. С. 203.
[13] Оцуп Н., Н.С. Гумилев // Николай Гумилев в воспоминаниях современников. Париж – Нью-Йорк – Дюссельдорф, 1989. С. 178.
[14] Цит. по Франк С.Л. Из истории русской философской мысли конца XIX и начала XX века. Вашингтон – Нью-Йорк, 1965. С. 142.